
Олег ЕРМАКОВ

ОВИДИЕВ ВЕНЕЦ... НАД БАТИЩЕВОМ

Название очерка сначала было другим: Артиллерист, химик, помещик, писатель. И сразу шестеренки текста входили во взаимодействие с ним, мол, вообще-то, перечень, вынесенный в заголовок, следует читать наоборот. По крайней мере, для большинства наш герой — прежде всего именно писатель. Читающая Россия девятнадцатого столетия сразу обратила внимание на появление нового таланта. В журнале Некрасова «Отечественные записки» за 1872 год появилось первое письмо «Из деревни» опального петербургского профессора химии Александра Николаевича Энгельгардта.

Вы хотите, чтобы я писал вам о нашем деревенском житье-бытье?
Исполняю (...).

5 февраля я праздновал годовщину моего пребывания в деревню. Вот описание моего зимнего дня.

...Полужинав, я ложусь спать и, засыпая, мечтаю о том, то через три года у меня будет тринадцать десятин клеверу наместо облог, которые я теперь подымаю под лен. Во сне я вижу стадо пасущихся на клеверной отаве холмогорок (...)

Так начинается этот, как бы сейчас сказали, проект «12 писем». А точнее, большая книга: человек большого таланта и большой души. И сразу же этот талант ярко заявляет себя броской картинкой, которую тут же и сам читатель дорисовывает в своем воображении: занесенная снегами усадьба в смоленской глубинке и восходящие над нею сны о цветущем клевере и... холмогорках. Это начало в какой-то степени вызывающее. Ну, читатели ждут других снов помещиков, вот, к примеру, таких:

Шепот, робкое дыханье.
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья.

Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица...

Впрочем, этот помещик, Фет хотя и пел лирическую деревню, но тоже был настоящим земледельцем и хозяином. Да и тоже писал крепкие вкусные очерки для российских журналов в то же самое — пореформенное — время, то есть сразу после Высочайшего Манифеста 19 февраля 1861 года «О всемиростивейшем даровании крепостным

Олег Николаевич Ермаков родился в 1961 году в Смоленске. Прозаик, автор книг «Знак зверя» (1994), «Запах пыли» (2000), «Свирель вселенной» (2001) и др. Живет в Смоленске.

людям прав состояния свободных сельских обывателей». И назывались они почти так же: «Из деревни», только публиковались в журнале «Русский вестник», таком же могучем «толстяке», как и «Отечественные записки». И свой первый очерк Фет тоже начинает энергично и дельно: «Итак, прочь фразы, в какую бы сторону они ни гнули. Говорить о деле надо добросовестно и прямо». А далее и он, не медля, упоминает пастьбу коров, правда, эта пастьба двухтысячелетней давности:

Вкруг тебя с ревом пасутся коровы.
Ржет кобылица, в четверку лихая...

Это строки Горация, которого Фет много переводил. Переводил он и Овидия, и об этом римском пиите мы еще вспомним в нашей статье.

Так что про ожидания читателей, якобы привыкших к шепоту и робкому дыханию и прочей тонкой лирике усадебного бытия, это я хватил лишку. Таковы ожидания, скорее всего, нынешнего читателя, не открывавшего ни «Писем из деревни» Александра Энгельгардта, ни «Жизни Степановки, или Лирического хозяйства» Фета.

Читателю того времени были знакомы и другие очерки народной жизни: «Из деревенского дневника» Г. Успенского, «Очерки крестьянской общины» Н. Златовратского, «Письма о провинции» Салтыкова-Щедрина, произведения Тургенева, Толстого, Лескова такого же характера.

Как сказали бы тридцать лет назад, свежий ветер перемен вырвался на сельские просторы России. И главной фигурой этих перемен, несомненно, стал крестьянин, мужик.

«Крестьянин, иными словами, стал своего рода *tabula rasa*, на которой писались мечты и чаяния русской интеллектуальной элиты, — замечает в своем великолепном исследовании, недавно переведенном на русский, профессор Бэйтс-колледжа, специалист по визуальной культуре и изучению окружающей среды Дж.-Т. Костлоу. — Претензии на понимание и связь с крестьянством превратились в разменную монету для русских авторов 19 века, а образы крестьянства зачастую несли в себе определенный взгляд на Россию и ее будущее»¹.

Но и барин играл здесь свою роль.

Оба и выступили главными героями этой сельскохозяйственной драмы России. И деревенских писем Энгельгардта.

Письма эти — великолепные очерки, полные своеобразной поэзии, спокойного юмора, острых мыслей, точных наблюдений. Читать их — истинное наслаждение. Россия девятнадцатого столетия явлена здесь в своей крестьянской природной ипостаси.

Пока баба ставит самовар, я лежу в постели, курю папироску и мечтаю о том, какая отличная пустошь выйдет, когда срубят проданный мною нынче лес. Помечтав, покурив, надеваю валенки и полушубок. (...) Я было сначала носил немецкий костюм, но скоро убедился, что так нельзя, и начал носить валенки и полушубок. Тепло и удобно. (...)

- Здравствуй, Авдотья! Ну, что?
- А ничего!
- Холодно?
- Не то чтобы очень; только мятет.

Смена костюма довольно знаменательное деяние. Автору и герою еще не раз придется отказаться от некоторых предрассудков и убеждений столичного жителя. Волею судеб он оказался как бы на другой планете. Правда, когда-то и детство он провел

¹ Дж.-Т. Костлоу. Заповедная Россия. Прогулки по русскому лесу 19 века. БиблиоРоссика, Бостон / Санкт-Петербург, 2020, с. 52.

в имении, и потом ему случалось жить в усадьбе, но не в этой и непродолжительное время, на летнем отдыхе. И все это уже было давно. Александр Николаевич вел жизнь столичную, напряженную. Он был исследователь и преподаватель.

А. Н. Энгельгардт родился в 1832 году на Смоленщине. Окончил Михайловскую артиллерийскую академию и получил звание поручика. (Как и Фет, кстати, только тот был поручиком кирасирского полка.) Александр Николаевич носил форму и служил в литейной мастерской Петербургского арсенала, ездил в Германию изучать сталелитейное производство и в домашней лаборатории проводил химические опыты. Начал преподавать химию в Александровском лицее и устроил частную химическую лабораторию вместе с химиком Соколовым, с ним же учредил и «Химический журнал», в котором печатались Менделеев, Бутлеров. Энгельгардт публиковал работы по артиллерийскому делу и органической химии.

После манифеста Россия заволновалась, одни считали вольную крестьянам преждевременной, другие — половинчатой: вместе с волей надо было отдать и всю землю, безвозмездно. Впрочем, студенческие волнения были вызваны не именно этим, а неожиданным ужесточением правил университетской жизни. Например, отныне запрещались студенческие сходки. А после летних каникул студенты именно это и сделали: сошлись. Тут же им велено было *разойтись*. Вот и закипело. Энгельгардт поддержал студентов.

Смоленский краевед Святослав Савельевич Кочаненков в своей очерке «А. Н. Энгельгардт. Страницы биографии» сообщает подробности: «27 сентября утром, зная о времени сбора студентов у здания университета, приехал туда. Военный мундир преподавателя привлек внимание полиции. К группе студентов, в которой находился Александр Николаевич, подошел полицеймейстер города полковник Золотницкий. Старший офицер предложил Энгельгардту удалиться, на что тот ответил отказом, мотивируя это отсутствием закона запрещающего офицерам находиться возле учебных заведений. Кроме того Александр Николаевич отказался назвать свою фамилию.

29 сентября 1861 года в полночь он был арестован на своей квартире и отправлен в тюрьму при городской комендатуре»².

На гауптвахте по решению военного суда Энгельгардт провел две недели. На него были наложены ограничения в получении очередных званий и, соответственно, в повышении денежного довольствия. Но через два года ограничения по ходатайству (повторному) Главного артиллерийского управления самим царем были сняты. Здесь трудно удержаться от невольного сопоставления с опалами последующих времен рабоче-крестьянской сталинской демократии. Две недели гауптвахты и два года некоторого ущемления в правах? Это какой-то лагерь... пионерский. Опальному поручику в следующем веке грозил бы приличный срок в лагере исправительно-трудовом где-нибудь на Колыме. А то и сразу — тройка, утром решение о ВМН (высшая мера наказания), вечером — к стенке и приведение приговора в силу.

Через три года Александр Николаевич уволился из арсенала и ушел в Петербургский земледельческий институт преподавать химию. Четыре года спустя профессора Энгельгардта избрали деканом факультета химии.

А вскоре он был заподозрен в потакании безответственным студентам, пускавшимися на вечеринках — в которых принимал участие и декан — в опасные дискуссии о политике. Краевед Кочаненков утверждает, что среди студентов оказались внедренные сотрудники охраны. И когда объем донесений потянул на «дело», ему дали ход.

На этот раз арестовали не только Александра Николаевича, но и его супругу, переводчицу Анну Макарову, дочь лексикографа, автора Полного французско-русского и Полного Русско-французского словарей, международных словарей для средних учеб-

² С. С. Кочаненков. А. Н. Энгельгардт. Страницы биографии. <https://sites.google.com/site/ocerkipo-istoriiodnyhmest2/a-n-engelgardt-stranicy-biografii>.

ных заведений, нескольких литературных произведений и воспоминаний³. Полтора месяца она пребывала в узилище, потом была отпущена. А самого Александра Николаевича отправили в ссылку. Он мог бы выбрать любое место в империи, кроме Петербурга, Москвы и столичных городов и губерний, где находятся университеты⁴.

...И как бы обрадовался другой ссыльный — почти двухтысячелетней давности — а именно Публий Овидий Назон такой возможности выбора! По совпадению (не первому уже, то же было и при одновременном чтении романа Астафьева «Прокляты и убиты» и «Божественной комедии» Данте, в результате чего появилась статья «За сибирским Вергилием»⁵) я перечитывал «Письма из деревни» параллельно с «Любовными элегиями», «Героидами» и «Фастами»... И когда дошел до «Скорбных элегий», неожиданно понял, что это новый пример синхронистичности в духе Юнга. Тем более что за «Скорбными элегиями» следовали «Письма с Понта»! И они, конечно, сразу стали перекликаться с *письмами* Энгельгардта.

Овидия купил давно в смоленском букинисте на круто падающей к собору и Днепру улице Большой Советской, а вот взяться за его творения все медлил. Но — вдруг время пришло. Некоторые книги, как плоды, должны вызревать, наливаясь соком, чтобы однажды упасть нам в руки. Ведь зачастую бывает, что та или иная книга не ко времени: вяжет, заставляет морщиться от горечи и кислятины или, наоборот, оказывается приторно перезрелой. Пожалуй, большинство книг, которые мы читаем в школе, явно первого характера.

Ну, ясно, конечно, что дело в нас самих. Но все же сравнение библиотеки с садом ярче и уместнее здесь.

Древний плод упал и раскрылся. Вообще, древнюю поэзию и прозу следует читать по одной простой причине. Древность лечит от скорбей, ибо приближает к вечности. Древность пробуждает чувство священного. И что наши беды, какой-нибудь ковид в отвесах пылающей Трои? Самоизоляция в сравнении с опалой великого поэта?

Обвинение, выдвинутое против Овидия, было таким же сомнительным, как и обвинение нашего земляка. «Следственная комиссия установила, что несмотря на наличие Временных правил, утвержденных Министерством государственных имуществ и регламентировавших поведение студентов, в институте существовали четыре учреждения — студенческая касса под названием „экономические суммы“, студенческая библиотека, кухмистерская и лавочка, которые „при совместном жительстве большей части воспитанников в здании института сплотили их в самостоятельную корпорацию, со своего рода самоуправлением“. Следственная комиссия отметила, что в частности для библиотеки „приобретались сочинения преимущественно по социологии“, не имеющие ничего общего с учебными руководствами, и что почти у всех обысканных воспитанников института найдены сочинения преимущественно политико-социального и экономического характера.

Кроме того отмечалось, что самой важной частью программы вечеров являлось „чтение статей и обсуждение различных вопросов, имевших исключительно политический и социальный характер“»⁶.

Как догадался читатель, это касается Энгельгардта.

А Овидию ставились в вину стихи и некий проступок: «Два преступления сгубили меня, стихи и проступок». Стихи — это «Наука любви», якобы расшатывавшая семейные и вообще нравственные устои Рима. А проступок, как предполагает М. Л. Гаспаров, — это недонесение. Будто бы поэт стал свидетелем чего-то, но смолчал. А вооб-

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ О. Ермаков. За сибирским Вергилием // Дружба народов. 2020, № 5.

⁶ С. С. Кочаненков, А. Н. Энгельгардт. Страницы биографии. <https://sites.google.com/site/ocerkipoistoriiodnyhmest2/a-n-enelgardt-stranicy-biografii>.

ще все это сделано, чтобы отвлечь внимание от скандалов в императорском семействе. И Овидий отправился в Сибирь древнего мира — на окраину Скифии, в город Томы на черноморском берегу, где никто не разумел латыни, но хорошо умел сражаться: город находился почти в бесконечной осаде. Там было холодно, даже вино в кувшинах превращалось в лед, замерзал Дунай и самое море. Говорят, что так и было, климат тогда был более суров. И полились скорбные элегии, заскрипели бортами и захлопали парусами письма с Понта Эвксинского, сиречь — Черного моря. Поэт сравнивал свою участь с теми, кто похоронен заживо. Невольно вспоминается и произведение другого страсто-терпца «Записки из Мертвого дома». Овидий, пожалуй, поправил бы: записки мертвеца.

Но все-таки он был жив. И сочинял свои элегии и поэтические послания в центр мира — Рим. Почти в каждом его произведении ссыльных лет содержится неизменная просьба, мольба к императору о прощении или к друзьям — о содействии. Узнав жизнь на этой окраине мира, поэт уже мечтал об одном: переселиться в любое другое место империи, пусть и не в Рим, — любое другое место, где нет льда и ядовитых стрел варваров, где только слышна латинская речь, и это будет огромным счастьем. Изгнаннику сочувствуешь. Но все же чтение «Скорбных элегий» и «Писем с Понта» порою и раздражает, и утомляет. А когда вдруг среди жалоб, вздымающихся тяжкими хладными волнами, появляются описания местной природы и нравов гетов и сарматов, тягостное впечатление рассеивается и возникает надежда... которая тут же и угасает, накрываемая, как шипящая головешка от костра, новой ледяной волной отчаяния и тоски и просьб к императору и его восхвалений. Надежда на что? На живописание варварских нравов, набегов, земель. Ведь материал — бесценный. Легко нам рассуждать, конечно...

Но все же контраст между теми и другими посланиями городу и миру поразителен.

Итак, Энгельгардт имел право выбора. Как он пишет сам, его звал к себе в богатое имение родственник, где бы ему было обеспечено комфортное и приятное во всех отношениях житье. Мог бы он отправиться и к теплу и солнцу, о которых так мечтал Овидий... Кстати, скорее всего, подобным местом и мог оказаться черноморский берег вблизи места ссылки римлянина, куда в свое время и прибыл еще один ссыльный — Александр Сергеевич Пушкин. Для нашего земляка, привыкшего к промозглым петербургским зимам, и город Томы — современная румынская Констанца — показался бы курортом. И, между прочим, в Констанце сейчас как раз открыт курорт.

Пушкин в стихотворении «К Овидию» и писал почти о тех же самых местах, куда и он попал в изгнание:

Я повторил твои, Овидий, песнопенья
И их печальные картины поверял;
Но взор обманутым мечтаньям изменял.
Изгнание твое пленяло втайне очи,
Привыкшие к снегам угрюмой полуночи.
Здесь долго светится небесная лазурь;
Здесь кратко царствует жестокость зимних бурь.
На скифских берегах переселенец новый,
Сын юга, виноград блистает пурпуровый.
Уж пасмурный декабрь на русские луга
Слоями расстилал пушистые снега;
Зима дышала там — а с внешней теплотою
Здесь солнце ясное катилось надо мною;
Младую зеленью пестрел увядший луг;
Свободные поля взрывал уж ранний плуг;
Чуть веял ветерок, под вечер холодея...

Но Энгельгардт выбрал не юг, а свое смоленское имение Батищево, «страшно запущенное, не представляющее никаких удобств для жизни»⁷.

«При крепостном строе, — пишет в своем очерке смоленский историк Д. И. Будаев, — это поселение, расположенное при речке Вержа, в 35 верстах от уездного города по левую сторону Бельского тракта, имело всего девять крестьянских дворов с населением около ста человек. Рядом находилось сельцо, носившее то же название, в нем стоял барский дом. По списку населенных мест 1895 года, в сельце жили 7 лиц мужского и 6 — женского пола»⁸.

Сейчас в эту деревню можно легко и быстро попасть, свернув с шоссе Москва — Минск после моста через Днепр и проехав семь километров. Во времена поселения там ссыльного ученого все было значительно труднее.

Александр Николаевич отправился в изгнание зимой. На вокзале в Петербурге его провожали. И что же? Наш изгнанник был бодр и даже весел. Хотя январь свирепствовал, и, как замечает ученый, оделся он основательно: валенки, шуба, длинный шарф. Бывшая среди провожающих родственница-помещица, перебравшаяся на постоянное жительство в Петербург, качала головой и предрекала Энгельгардту незавидную участь, мол, боюсь, сопьешься, как спились уехавшие в деревню ее знакомые, умнейшие и деятельнейшие люди. Энгельгардт отшучивался и уверял, что не бывать тому. А потом зазвонили, и он сел в настывший вагон. Во всем этом нетопленном вагоне, кроме химика-артиллериста, был еще один пассажир. И в полночь ссыльный не утерпел, доплатил и переселился в вагон первого класса. Там отапливали. Химик над собой подтрунивал, ишь, деятель, сельское хозяйство надумал поднимать, а чуть морозцем поприжало — и запросился обратно... в первый класс. И лишь одно его утешало: тот второй пассажир, еврей, тоже переселился, а уж на что, мол, народ-то прижимистый...

Но в этом отапливаемом вагоне до места назначения опального профессора не довели, куда там! Извольте пересесть на другую линию. А до прибытия нужного поезда — померзнуть в вокзале. Ну и что? Зато есть шуба и горячий чай. Чай в морозной России только и спасает. Новые вагончики были меньше и такие же настывшие, как первый. Поезд полз сквозь январскую ночь, вдруг замирал и долго простаивал в непроглядном поле, будто размышляя над тягчайшими проблемами мироздания. Снова трогался. И в вагончике снова был еще один пассажир. Под утро — другая станция и пересадка. Ледяной вокзал да горячий чай. Скука. Ну, куда ж без этого на русской дороге. Зато прибывший поезд был хорош, с просторными, теплыми и людными вагонами, и день январский сиял за окнами снегами и солнцем: «День случился красный...»⁹

Правду сказать, этот лютый мороз, как говорит профессор, все-таки его сильно озадачил. Но это — из-за костюма. «Барский костюм до такой степени отличен от мужицкого, приспособленного к образу жизни всего населения страны, что человек, носящий барский костюм, по необходимости должен носить с собою и всю обстановку, соответствующую этому костюму»¹⁰. Поверх накрахмаленной рубашки, пиджака, комнатных сапог он напялил шубу, валенки, меховую шапку, а все одно мерз, потому что был неповоротлив. А надо было просто надеть на рубашку сразу мужицкий полушубок, он греет и не стесняет движений. К нему шерстяной шарф, такие же чулки, валенки, башлык, длинные волосы и шапка. Это все профессор понял позже, осваивая науку сельской жизни.

⁷ А. Н. Энгельгардт. Письма из деревни (1872—1887 гг.). Смоленская земля в памятниках русской словесности. Смоленск: Маджента, 2012, с. 119.

⁸ Д. И. Будаев. Всероссийская известность небольшой деревни. В кн.: Неизвестное об известных. Смоленск: Маджента, 2003, с. 118.

⁹ Там же, с. 120.

¹⁰ Там же, с. 121.

Овидий отправился в ссылку тоже зимой, на месяц раньше и на 1863 года тоже раньше. Неудобства, испытанные им, весьма отличались, это надо признать. Во что он был одет? Первая мысль — в тогу, кусок белой шерстяной ткани, который хитро обворачивался вокруг тела. Но тога воспрещалась *негражданам* и тем, кто был изгнан. Точно — в тунику, шерстяную или льняную одежду вроде мешка, с прорезями для головы и рук. На Овидии, конечно, была она, да не одна, наверняка несколько туник, и шерстяных и льняных. Затем накидка с капюшоном, скорее всего черного цвета. Еще — палудаментум, разновидность воинского плаща. Ноги в шерстяных повязках. Обувь — высокие ботинки калыцеи. На голове, скорее всего, широкополая шляпа, а при ветре — капюшон.

Ни поездов, ни пароходов тогда не было, и путь по Средиземному морю он одолел на деревянном корабле с веслами и парусом, либо на военном, либо на торговом, грузовом. В Ионийском море разыгралась буря.

Боги морей и небес! Что осталось мне, кроме молений?
О, пощадите корабль, ставший игралищем волн!
Подпись не ставьте, молю, под великого Цезаря гневом:
Если преследует бог, может вступиться другой.

Так зывал несчастный мореплаватель, под богом разумея, естественно, Августа. Трудно удержаться и не цитировать дальше:

Боги! Как кругом загигают пенные горы!
Можно подумать: сейчас звезды заденут они.
Сколько меж пенистых волн разверзается водных ущелий!
Взоры куда ни направь, повсюду лишь море и небо.

Но все обошлось. В Греции Овидий жил до лета, затем на корабле двинулся дальше, во Фракии, так сказать, спешился и уже по суше достиг места ссылки. И ему было не до шуток. Вокруг расстился враждебный Риму мир.

Путешествие в ссылку Энгельгардта было короче и проще. И Батищево все же было его имением, хотя и в жалком состоянии. Но условия новой жизни для столичного жителя, мягко говоря, были весьма непривычны, а крестьянский мир занесенной снегом отчизны и вовсе временами напоминал именно «Скифию».

Судите сами.

За вечерним самоваром у нового помещика, переодевшегося уже во все деревенское, разговор с управляющим Иваном. Иван неспешно рассказывает деревенские новости. Вот Василий прибил жестоко жену Ефёра Хворосью. За что? За мужика Петра, с которым та снюхалась. А Петр этот из чужой деревни, сюда приходит работать на мельнице. А на деревне как? Со своими мужиками бабе — дозволяется, если ее мужик попустительствует. А с чужими — никак. И вот они усмотрели то дело, выследили и нагрянули в избу одной старухи, а там Хворосья, старуха... а где ж любовник? А тут — под лавкой. Вытащили...

Что же муж, Ефёр?
— Ничего; Ефёра Петр водкой поит. А вот Василий взбеленился.
— Да Василью-то что?
— Как что? да ведь он давно с Хворосьей живет, а она теперь Петра подхватила.
Под вечер Василий подкараулил Хворосью, как та по воду пошла, выскочил из-за угла с поленом, да и ну ее возить; уж он ее бил, бил, смертным боем бил. Если бы ба-

бы не услышали, до смерти убил бы. замертво домой принесли, почернела даже вся. Теперь на печке лежит, повернуться не может¹¹.

Озадаченный профессор разглаживает повлажневшие от чая усы, бороду и спрашивает, чем же дело закончилось. А дело закончилось хорошо и мирно. *Мир* явился к Ефери и стал судить. Да присудил: Василью уплатить Ефери, мужу Хворосьи, десять рублей (это примерно цена двух свиней или треть годовой платы работнику) да еще и работницу содержать на время болезненного лежания жены. *Миру*, разумеется, прямо сей час — полведра водки, зря, что ль, судили-рядили?

Новости продолжают, новости — в том же духе живописующие нравы наших гетов и сарматов.

Потом Иван уходит, профессор отправляется в столовую ужинать — в одиночестве? Нет. С кошками. Он на стуле, а обочь тоже на стульях восседают кошки, ждут лакомств.

А на дворе вьюга, метель, такая погода, про которую говорят: «хоть три дня не есть, да с печки не лезть». Ветер воет, слышен наводящий тоску отрывистый лай...¹²

Вокруг хороводят волки. То и дело заявляются в деревню и в усадьбу — поживиться глупыми или слишком смелыми собаками. Иной раз хватают добычу прямо с крыльца.

Метели, дни и ночи, дымы печей, необозримые леса, поля да хмурые, а ночью зло звездные ледяные небеса. Хозяйство расстроенное. Дом требует ремонта и ухода. Денежный вопрос жмет вью, как плохо подогнанный хомут. Вокруг сплошь и рядом бедность крестьян и разорение помещиков. А наш помещик-химик еще и под полицейским надзором.

Это лишь на первый взгляд — поэзия, как в стихах другого помещика Фета:

Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,

Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.

А попробуй противостоять зиме, одиночеству и одичанию. Овидия называют первым в мире поэтом одиночества, до него никто так не являл это *urbi et orbi*. И это была его отдушина, спасительная работа — стихи.

Противоборствует дух, и тело в нем черпает силы,
И нестерпимое он мне помогает терпеть.

Опального смоленского профессора тоже спасала работа, не поэзия и не проза, а вечный земледельческий труд, в котором все же есть и проза, и своя высокая поэзия.

¹¹ А. Н. Энгельгардт. Письма из деревни (1872—1887 гг.). Смоленская земля в памятниках русской словесности. Смоленск: Маджента, 2012, с. 48.

¹² Там же, с. 49.

О чем и свидетельствуют ярко «Письма из деревни». Здесь уместно вспомнить и другого поэта древнего мира — Гесиода, его «Труды и дни», прославляющие стезю земледельца. А также соотечественника Овидия — Вергилия, его чудесные «Георгики», воспевающие труд на земле:

О хлебопашестве я рассказал и созвездьях небесных.
Ныне тебя воспою, о Вакх, воспою и деревья,
Дикие леса, и плод неспешно растущей маслины.

В мире есть извечная философия хлебного колоса. Зеленый с синевой колос ее эмблема. Иль — золотой. Шелковистый шум колосьев — ее музыка. Это все есть в стихе Фета, сочиненном им как раз в его Степановке, и, пожалуй, уместно привести сей гимн полностью:

УТРО В СТЕПИ

Заря восточный свой алтарь
Зажгла прозрачными огнями,
И песнь дрожит под небесами:
«Явился, дня лучистый царь!

Мы ждем! Таких немного встреч!
Окаймлена шумящей рожью,
Через всю степь тебе к подножью
Ковер душистый стелет греч.

Смиренно преклоняясь челом,
Горит алмазами пшеница,
Как новобрачная царица
Перед державным женихом».

Перед этими стройно звучащими словами как-то меркнет и бледнеет все, любое иное дело. Деятели хлебного колоса и есть атланты, на которых держатся и небо, и дома, и мосты. Крестьянин — соль земли. Неспроста свой лучший, библейский по духу и размаху, роман о крестьянах Гамсун так и назвал — «Соль земли»¹³. И там есть гимнические по духу строки, обращенные к земледельцам: «Вы живете вместе с землей и небом, вы одно целое с ними, одно целое с этой ширью и незыблемостью бытия. Вам не нужен меч в руках, вы идете по жизни с пустыми руками и непокрытой головой, окруженные великой любовью». С ним перекликается философ Шпенглер, говоривший, что земля для крестьянина становится матушкой-землей¹⁴.

Вот это восприятие земли и передается читателю книги Энгельгардта. А как иначе, если его окружали крестьяне, люди, чьи помыслы были об одном: о земле. Они думали о земле, говорили, мечтали. С юмором профессор рассказывает о слухах, упорных слухах, что-де царь-батюшка вот-вот укажет отдать всю землю мужику, уже и указывает якобы, да злыдни-помещики темнят, уводят в сторону, не говорят всей правды.

¹³ Больше известны другие переводы названия: «Соки земли», «Плоды земли», но «Соль земли» точнее, ярче и глубже в своей перекличке с Нагорной проповедью: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на поппание людям» (Матф.5:13).

¹⁴ О. Шпенглер. Закат Европы. Т. 2. Мн.: ООО «Попурри», 1999, с. 112.

«Нетронутой земли пропасть — есть куда раздаться»¹⁵. И то верно. Где же новый манифест? Прижимистость властей предрежащих насчет земли российской уникальна. Ведь это продолжалось и после революции, одним из главных лозунгов коей был лозунг о земле. То же было и в последующие советские годы, когда проводились укрупнения, и пустели деревни, начинали зарастать поля, а те же горожане мечтали о домике в деревне — да попробуй выпроси, выходи. В новые времена власть расщедрилась: берите аж по два гектара... на Дальнем Востоке... Уточнил: не два гектара, а один. А в средней полосе — гигантские пустоши; земли бывших колхозов зарастают весело березняками, целые деревни пустуют, автор сам бывал в путешествиях в таких деревнях, например, над речкой Устромом стоят добротные дома из сосновых бревен — никому не нужны. Об этих землях как будто забыли.

Такого мужика Энгельгардт называет «землелюбцем» и говорит, что такой мужик «держится земли до последней крайности и бросает только тогда, когда ему вовсе уже не под силу, когда его одолевают дети, бедность». Но что это за условия землепользования, если именно бедность и дети могут заставить бросить землю-кормилицу? Все шиворот-навыворот в нашем отечестве! Энгельгардт перечисляет главные проблемы: недостаток земли (все-таки!), обременение ее огромными налогами, крайне неэкономическое отношение к мужику начальников, заставляющих его бесполезно тратить массу сил.

Деяния начальства Энгельгардт то и дело живописует со вкусом: «Не раз случилось, — об этом и в газетах пишут, — что разгоняли хороводы, вечеринки, игрища, посиделки, свадьбы. Министр внутренних дел даже вынужден был издать по этому поводу особый циркуляр от 23-го октября 1879 года, коим разъясняет, что игрища и тому подобные увеселения народа не суть нарушения общественной тишины и спокойствия»¹⁶.

Начальство донимало и Энгельгардта. Помещик-то он помещик, пусть и ученого звания и вида — с длинной львиной гривой и апостольской бородой, — а ведь, того, ссыльный, поднадзорный, сомнительный. И Энгельгардт как слышит колокольчик начальства, так сразу и хватанет стопку-другую для храбрости. И все ж таки допился до чертиков, как сам и сознается. И толку никакого: сквозь тот хмельной туман лицо начальника в кепке все лезет. Доктор его осмотрел и вынес вердикт: ни-ни. Профессор повиновался.

А вообще, так ли уж нужен этот начальник на деревне?

Грешный человек, я сомневался, чтобы новым начальникам далось предупреждать метели, волков, пожары, конокрадов. Что говорить о каких-нибудь деревенских начальниках, когда сама петербургская полиция — и та предупреждать не может. Вот еще недавно чуть полгорода водой не залило! Сомневался даже и в том, чтобы урядникам удалось способствовать открыванию преступлений: что само откроется, то и откроется.

Далее Энгельгардт замечает, что о грабежах, убийствах, преднамеренных поджогах и не слышно. Случается редкое конокрадство.

Если посчитать, что стоят новые начальники, да если притом считать не одно только жалованье, а всю ту массу невидимых расходов, которые несет мужик от разных начальнических выдумок и «строгостей», то составит такая сумма, что и десятой части ее хватит, чтобы откупиться от всех конокрадов и воров. Но мало

¹⁵ А. Н. Энгельгардт. Письма из деревни (1872—1887 гг.). Смоленская земля в памятниках русской словесности. Смоленск: Маджента, 2012, с. 209.

¹⁶ Там же, с. 197.

того, именно конокрадов-то начальник и не изловит, потому что в настоящие конокрады идут что ни на есть умнейшие люди, а в новые начальники идут те, которые ни к какому другому месту прибиться не могут.

Хорошо-то как припечатал!

Так что *письма* Энгельгардта из девятнадцатого века и сейчас во многом актуальны. Взять ту же Америку. Думаете, экивоки на эту далекую страну только при Хрущеве вошли в обиход русской жизни? Мол, догоним и перегоним! Ошибаетесь. Уже при Энгельгардте то же самое толковали, только без экивоков, сиречь — двусмысленностей, намеков.

И с чего такая мечта, что у нас будто бы такой избыток хлеба, что нужно только улучшить пути сообщения, чтобы конкурировать с американцем? Американец продает избыток, а мы продаем необходимый насущный хлеб. Американец-земледелец сам ест отличный пшеничный хлеб, жирную ветчину и баранину, пьет чай, заедает обед сладким яблочным пирогом или папушником с патокой. Наш же мужик-земледелец ест самый плохой ржаной хлеб с костером, сивцом, пушпиной, хлебает пустые серые щи, считает роскошью гречневую кашу с конопляным маслом, об яблочных пирогах и понятия не имеет...¹⁷

Что за притча?! В самом-то деле, неужели наш крестьянин хуже, ленивее, глупее?

Но послушаем профессора дальше, ему приходилось слышать рассказы побывавших в Америке поселенцев: «У американца и насчет земли свободно, и самому ему вольно, делай, как знаешь в хозяйстве. Ни над ним земского председателя, ни исправника, ни непрямого, ни урядника, никто не начальствует, никто не командует, никто не приказывает, когда и что сеять, как пить, есть, спать, одеваться, а у нас насчет всего положение»¹⁸.

Вот те на! А мы-то думали, это советские такие порядки были, сплошная регламентация. А оказывается, и тогда, век тому назад. Но невозможно остановиться здесь, и хочется еще послушать этого вольного духом помещика: «Нашел ты удобным по хозяйству носить русскую рубаху и полушубок — нельзя, ибо, по положению, тебе следует во фраке ходить. Задумал ты сам работать — смотришь, ан на тебя из-за куста кепка глядит. Американский мужик и работать умеет, и научен всему, образован. Он интеллигентный человек, учился в школе, понимает около хозяйства, около машин. Пришел с работы — газету читает, свободен — в клуб идет. Ему все вольно. (...) У американца труд в почете, а у нас в презрении: это, мол, черняди приличествует. (...) Американец и косит, и жнет, и гребет, и молотит все машиной — сидит себе на козлицах да посвистывает, а машина сама и жнет, и снопы вяжет, а наш мужик все хребтом да хребтом. У американского фермера батрак на кровати с чистыми простынями под одеялом спит, ест вместе с фермером то же, что и тот, читает ту же газету, в праздник вместе с хозяином идет в сельскохозяйственный клуб, жалованье получает большое. Заработал деньжонок, высмотрел участок земли и сам сел хозяином.

Где же нам конкурировать с американцем!»¹⁹

И действительно, куда нам, ежели через век барский заскок случился насчет крепостного права. Вот подивился бы Александр Николаевич, когда ему со станции привезли бы, как обычно, почту — и если это был колокольчик именно той лошади, на которой работник и ездил всегда на станцию, то один пес радостно лаял, как бы извещающая хозяина, тогда как другие экипажи встречал иным лаем, — так вот, приняв поч-

¹⁷ Там же, с. 206.

¹⁸ Там же, с. 206, 207.

¹⁹ Там же.

ту и устроившись в комнате, развернув хрустящую с мороза газету из будущего, вот бы подивился он, прочтя, что «при всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации»²⁰. Салтыкова-Щедрина нет на него! Пожалуй, так бы воскликнул профессор. И тут же немного смутился бы, ведь его доброжелательный редактор «Отечественных записок» еще жив и здоров и клеймит всяких держиморд и воздыхателей о тьме крепостничества. Как, например, безжалостно гвоздил и Фета. Наверняка Энгельгардт об этом знал, читал.

Поэту досталось, что говорится, на орехи. И все из-за стихов. (Как и у предшественника, которого он переводил, — Овидия: «лучше бы мне никогда не писать ее!» — книгу «Наука любви»; да и другую книгу «Метаморфозы» он сжег, узнав об изгнании; ладно хоть списки уже ходили по рукам.) Вот они, эти злосчастные стихи Фета:

Прежние звуки, с былым обаяньем
Счастья и юной любви!
Все, что сказалося в жизни страданьем,
Пламенем жгучим пахнуло в крови!..

Щедрин тут же прибил пиита к позорному столбу, услышав здесь «воплъ души по утраченном крепостном праве»²¹. И бил дальше, сильнее, больнее, мол, то стишки напишет, то «пчеловеконенавистничает». И пошло-поехало, начала писать губерния. Фета заклеили крепостником навсегда. Посыпались эпиграммы.

Ну, главного судию нынешних времен гвоздить особенно не стали. У нас и не то случается. Все гудели о присоединении новой старой земли. Но судия верно вообще уловил ход нашей истории: «Назад, во мглу, в глухие склепы / Вам нужен бич, а не топор», — говоря словами Блока. Наш президент, похоже, избрал примером для подражания именно Николая Первого, прозванного в народе Палкиным. Палкой всяких указов и постановлений у нас сейчас избивают свободу и будущее. А митингующих дубасят и не аллегорической, а вполне реальной и увесистой полицейской дубинкой да пожилую женщину бьют в живот полицейским крепким берцем. Такой вот дубинкой недавно отходили и ветерана афганской войны, писателя из Санкт-Петербурга Николая Прокудина за то, что просто снимал на телефон митинг против ареста Навального. Он мне показывал сплошные синяки...

Так что прав провидец Энгельгардт: «Где же нам конкурировать с американцем!» — «Ему все вольно». Все не все, а явно вольнее, чем нам. И потому никогда Новый Свет нам не догнать. Только поэтому.

Сейчас бы Александра Николаевича сразу заклеили русофобом и либералом. А он как будто и предвидел это и отвечал: «„Русь“ говорит, что малоземелье выдуманно либералами. Пусть же „Русь“ и меня причтет к либералам („Русь“ в № 18 за 1881 год, разбирая по поводу моих статей, что я такое, говорит, что я не подхожу к либералам: благодарю за аттестат), но пусть со мной причтет к либералам и всего мужика, который стонет от малоземелья. Я мужиком не гнушаюсь».

Ну, а русофобом уж никаким Энгельгардт не был.

²⁰ Председатель Конституционного суда В. Д. Зорькин в своей статье, опубликованной 26 сентября 2014 года в «Российской газете», дал оценку крепостному праву, отмененному в 1861 году. Он считает, что отмена крепостного права разрушила уже и без того заметно ослабевшую к этому времени связь между двумя основными социальными классами нации — дворянством и крестьянами (из «Википедии»).

²¹ А. Фет. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство / Вступ. статья, сост., подгот. текста и коммент. В. А. Кошелева и С. В. Смирнова. М.: Новое литературное обозрение, 2001, с. 32.

Профессор всю душой любил эту смоленскую землю и крестьянствующих на ней мужиков и баб. О чем ярко свидетельствует самый дух его книги. Но и не только, а, конечно, и конкретные высказывания. И — язык. Столичный житель быстро усвоил этот язык глубинной местности. И читать его книгу — чистое наслаждение.

Вечер был теплый, превосходный, совершенно майский вечер, соловьи так и заливались в олешнике подле пруда, медведки трубили во всю мочь. Хорошо весной в деревне! Право, если бы мне предложили теперь быть директором департамента, то я не согласился бы. Я сидел на балконе, наслаждаясь весенним вечером, курил и прихлебывал чай²².

Какой контраст со «Скорбными элегиями» и «Письмами с Понта»! Римский изгнанник не видит ничего достойного изображения вокруг, хотя поневоле все же живописует урывками мир грубых бородатых варваров:

Как посмотрю я вокруг — унылая местность, навряд ли
В мире найдется еще столь же безрадостный край.
А на людей погляжу — людьми назовешь их едва ли.
Злобны все как один, зверствуют хуже волков.

Все его помыслы — о Городе. Там в центре близ Капитолия стоит его просторный дом. Сад, в котором он писал стихи — на северной окраине Рима, поблизости от Тибра²³.

Уныние и тоска временами охватывали и профессора из Петербурга, а как же, живой человек с устоявшимися привычками, горожанин. В такие часы он обращался к книгам, читал Дюма и многих других авторов. Но все же царит в его *письмах* дух бодрости и острого любопытства. Он сознается, что много лет был теоретиком в вопросах агрохимии, а теперь-то наконец появилась отличная возможность стать практиком. И он им стал — практиком, сиречь — хозяином. Встал вровень с *неразгаданным существом, которое называется мужиком*²⁴. Вровень — именно как с крестьянином, земледельцем. Да все же и кое в чем превзошел. Тут ему и сгодились обширные познания и страсть к экспериментам. Историк Будаев называет его одним из пионеров применения минеральных удобрений. Он проводил опыты с костяной мукой, суперфосфатами, древесной золой, известковыми туфами по специально разработанной программе для ржи, овса, льна, ячменя, картофеля²⁵. И довольно быстро захудалое хозяйство стало выправляться, приносить прибыль — как и у лирика Фета. (Кстати, Салтыков-Щедрин тоже захотел похозяйствовать и купил имение под Москвой, но так и не смог поднять его²⁶.) Особенно прибыльным оказалось выращивание льна. А первоначальный капитал дал лес. (Увы, автор, как бывший лесник заповедников, не мог умолчать об этой ложке дегтя. Именно так и сводились леса в России. Разорявшиеся помещики пускали их под топор. То есть это был один из неприятных сюрпризов манифеста. Сле-

²² А. Н. Энгельгардт. Письма из деревни (1872–1887 гг.). Смоленская земля в памятниках русской словесности. Смоленск: Маджента, 2012, с. 97.

²³ М. Л. Гаспаров. Овидий в изгнании. В кн.: Овидий. Скорбные элегии. Письма с Понта. М.: Наука, 1978, с. 194.

²⁴ А. Н. Энгельгардт. Письма из деревни (1872–1887 гг.). Смоленская земля в памятниках русской словесности. Смоленск: Маджента, 2012, с. 66.

²⁵ Д. И. Будаев. Всероссийская известность небольшой деревни. В кн.: Неизвестное об известных. Смоленск: Маджента, 2003, с. 125.

²⁶ А. Фет. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство / Вступ. статья, сост., подгот. текста и коммент. В. А. Кошелева и С. В. Смирнова. М.: Новое литературное обозрение, 2001, с. 44.

довательно, в чем-то прав тот же Зорькин? Нет. Манифест был необходим как воздух. Но о лесе царь и правительство должны были позаботиться. И позаботились, но уже позже: в 1888 году Александр Третий подписал «Положение о сбережении лесов».)

В итоге хозяйство Батищево стало известно во всей России как образцовое, а достигнутые успехи позволили Энгельгардту назвать свое предприятие «Счастливым Уголком». Это эхо на поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».

«Кто счастлив? Откликнись!» — зовет Энгельгардт. И сам же и отзывается, описывая восемь-десять деревень, входящих в «Счастливый Уголок».

«Счастлив тот, кто спокойно ест свой хлеб, зная, что он заработал его собственным трудом». Но этого, конечно, мало. Хлеба должно быть много — как у обитателей «Счастливого Уголка». Тут вспоминается формула счастья другого нашего земляка — Твардовского:

Чтоб хлебу на год вволю быть,
За сало салу заходить...

И ради того мужик и ломит работу: «Я люблю землю, люблю работу, если я ложусь спать и не чувствую боли в руках и ногах от работы, то мне совестно, кажется, будто я чего-то не сделал, даром прожил день», — пересказывает помыслы мужика профессор.

Раньше многие пускались в Москву, на железную дорогу за рублем. Теперь, в «Счастливом Уголке» говорят: «Зачем в Москву ходить (...), у нас и тут теперь Москва, работай только, не ленись! Еще больше, чем в Москве, зарабатываешь».

В чем же главная причина процветания?

Ответ очевиден: Энгельгардт — тип подвижника, кои то и дело являются на Руси. Приехал он в захудалое Батищево, окруженное бедняцкими деревнями с пьянствующим от беспросветной бедности мужиком, и... что? Да принес свет, о котором в одном письме и толкует, обращаясь к интеллигенции, зовя ее на землю, ибо земля может их сделать истинно свободными. Взовет к интеллигенции: «Мужику нужен земледелец-агроном, нужен земледелец-врач на место земледельца-знахаря, земледелец-учитель, земледелец-акушер. Мужiku нужен интеллигент-земледелец, самолично работающий землю. России нужны деревни из интеллигентных людей». То есть деревне нужны знания, необходимо просвещение. И он сам и явился в Батищево таким интеллигентом со светом знаний.

За ним потянулись и другие из городов. В Батищеве возникла некая общность, которую так и хочется сравнить с фалангой утописта Шарля Фурье. Сюда приезжали учиться, перенимать опыт. В имении трудилась целая артель из интеллигентов — 79 человек. Были среди них и толстовцы.

Навестил Батищево и Вернадский. И по дороге от станции он услышал, как говорится, глас народа: возница рек, что лучше Энгельгардта хозяина здесь нету. И когда они проезжали мимо поля, на котором рожь дивно сильно взошла на фосфоритах, лицо возницы, уже не раз видевшего эту рожь, снова озарялось *радостным удивлением*, как сообщал в письме жене Вернадский²⁷. Вот он — ответ знания Энгельгардта, ответ всей его могучей личности, бьющей и в нас лучом через век.

Вернадский пишет дальше, что дом Энгельгардта и не похож на помещичий, во дворе службы, вход в дом через кухню. И он прошел прямо в кабинет, а там его встретил «высокий старик, с умным энергичным лицом, с седой бородой и седыми до плеч

²⁷ М. Н. Левитин. А. Н. Энгельгардт и В. И. Вернадский. В кн.: Неизвестное об известных. Смоленск: Маджента, 2003, с. 130.

волосами. Лицо его мне очень понравилось. По-моему, это один из самых замечательных людей, каких мне только случалось видеть»²⁸.

Благородное львиное лицо опального профессора не могло не нравиться.

Краевед Кочаненков пишет в своем очерке, что супруга Энгельгардта не последовала за ним в ссылку, предпочтя жизнь в столице, где у нее были связи, работа, налаженный быт. Дети тоже были с ней. Только одна дочь некоторое время жила в Батищеве. А сыновья всегда приезжали на лето. Сперва и жена навещалась, но потом перестала. Брак обрел формальные черты. Профессор же в конце концов сошелся с деревенской женщиной, и у них якобы были дети, и много.

Что ж, слов из песни не выкинешь.

В «Скорбных элегиях» и «Письмах с Понта» Овидия перед нами предстает иная любовь. Жена Овидия хотела отправиться сквозь бурные зимние моря с мужем в изгнание. Это была третья жена поэта, в которой он нашел наконец свое счастье. У них была дочь. И ради дома, ради самой жены поэт запретил ей следовать за ним. И в бую, разыгравшуюся в Ионийском море, он славил богов:

Слава богам, что отплыть я с собой не позволил супруге,
Истинно, вместо одной две бы я смерти познал.
Если погибну теперь, но ее не коснется опасность,
То половина меня, знаю, останется жить.

Изумительные строки любви. И к жене Овидий то и дело обращался, мучительно желая все же встречи и снова и снова вспоминая последнюю ночь в Риме, луну над Капитолием, орошавшую слезами Лары жену, и провидчески замечая:

Я от супруги живой живым отторгаюсь навеки...

Встретиться им было не суждено больше никогда. Но образ ее был с изгнанником на далеком скифском берегу все время. Анализируя эти два произведения Овидия, их, так сказать, героев — адресатов: друзей, М. Л. Гаспаров приходит к твердому заключению: «Жена — единственное лицо в мире „Скорбных элегий“, которое разделяет мучения одинокого поэта»²⁹.

Овидий умер на дальнем берегу, смена власти в Риме, увы, никак не отразилась на его судьбе. Август, злобно и подло отправивший его в ссылку, умер в 14 году. Овидий — примерно в 18-м.

Энгельгардт скончался тоже на *дальнем берегу*. В Батищеве он уехал в 1871 году. Умер в 1893-м. Ссылка его давно окончилась, в 1882 году. Но профессор и вправду пустил корни в любимую им землю и удосужился обращения крестьян на «ты» и имени «Лександра», что вызывало восторг профессора, пребывавшего даже «наверху блаженства»: эти обращения «служат несомненным выражением уважения к данному хозяйству». И к самому хозяину, добавим мы, читатели двадцать первого века, испытывающие чувство огромной благодарности к писателю, помещику, химику и артиллеристу, оставившему нам свой великолепный труд — книгу писем и книгу опыта жизни на земле.

После его смерти Министерство сельского хозяйства выкупило имение и устроило там опытную станцию; и большевики ее не разорили, а создали на ее основе Запад-

²⁸ Там же, с. 130, 131.

²⁹ М. Л. Гаспаров. Овидий в изгнании. В кн.: Овидий. Скорбные элегии. Письма с Понта. М.: Наука, 1978, с. 212.

ную областную станцию полеводства. После войны станция была восстановлена на новом месте, а теперь перенесена и в другой район — в Стодолище Починковского района³⁰. В деревне Николо-Погорелое неподалеку от Батищева есть мемориальная доска в честь Энгельгардта. Почему не в Батищеве, неизвестно. Да и не так важно. Главный его живой мемориал — книга «Письма из деревни», полная точных и сочных картин сельской жизни пушкинского века. Ведь девятнадцатый век навсегда пушкинский. Век особой России, золотой чистой осени, когда, может быть, страна достигла предела духовных усилий. Век цветения, по Шпенглеру. Цветение и осень? Да. Ведь лучшие стихи об осени написаны были тогда. Да и вообще все лучшее в нашей и мировой литературе. Как и век Овидия тоже был лучшим в Риме. И оба золотых века бросают нам отсветы в век двадцать первый, пластиковый. И судьбы обоих изгнанников причудливо переплетаются... не знаю, по чьей воле. По воле случая. И судьба и книги римского ссыльного ярче высвечивают судьбу и книгу смоленского подвижника. Свет первого — печальный, стихи его с просьбами иногда монотонны.

Но все-таки Пушкин справедливо порицал тех, кто... в общем, кто рассуждал именно так. Он считал, что творения изгнания интереснее, непосредственнее предыдущих у Овидия.

Должен признаться, что элегии и письма ссыльного мне тоже больше по душе, потому как в отрыве от родных мест довелось провести всего лишь два года — в степях и горах на востоке, — но чувство тоски по смоленскому лесу, саду, по древнему городу было яростным и сокрушительным, и я это прекрасно помню.

Овидий был заброшен в совершенно чужой мир, на латыни там никто не говорил. Томы римляне захватили всего лет тридцать назад. Там жили, правда, кроме абorigенов, и греки, но и те не разумели латынь.

А стихия родной речи — это высшее благо. И оно однажды стало для меня наглядным.

Не могу забыть один эпизод из армейской жизни.

Через полк из степей в провинциальный город Газни проходила относительно безопасная дорога, нежели кружная, напичканная минами. И однажды к нашему контрольно-пропускному пункту со шлагбаумом приползла огромная колонна. Куда-то следовал афганский полк, то ли к месту новой дислокации, то ли на операцию. Выглядела эта колонна довольно экзотично: вместе с танками и бронетранспортерами ехали разрисованные грузовики, доверху набитые матрасами, чайниками, ящиками с провизией, — будто и не военная колонна, а торговый караван. Пока ожидали разрешения на проезд через полк, темноликие афганцы в мышинового цвета форме похаживали по дороге и гомонили на все лады. А к нам в мраморный домик зашел молодой офицер, русский. Это был переводчик при советнике. И я сейчас вижу его полубезумные и расширяющиеся, наполняющиеся безграничным счастьем синие глаза. Он уже около года провел в афганском полку где-то посреди гор. И вот видел нас, двоих русских и двоих татар. Видел, но главное — слышал. Он весь обратился в слух. Пожимал наши руки, знакомясь, долго тряс их и бормотал — бормотал, как в забытии: «Вы... вы... ребят... даже не представляете, что это такое... какое это у вас тут... все, все...» Он озирает стены каменной комнаты, на которой были всякие открытки с видами нашей далекой родины, брал какую-то книгу со стола и жадно листал ее. И снова во все глаза глядел на нас, слушал. Он буквально напивался нашей речью, шутками.

А Овидий родной речи был лишен на десять лет.

³⁰ Д. И. Будаев. Всероссийская известность небольшой деревни. В кн.: Неизвестное об известных. Смоленск: Маджента, 2003, с. 128.

Энгельгардт оказался в стихии языка даже еще лучшей, более, так сказать, родной: в деревенской русской речи. И его книга переливается ею, как чистый поток на разноцветных камушках.

Так что же, не стоило и сравнивать опыт этих изгнанников?

Тут нам снова подает помощь Пушкин, в стихотворении «К Овидию»:

Не славой — участью я равен был тебе.

Русский поэт, оказавшийся примерно в тех же краях, конечно, имел больше оснований для сравнения:

Суровый славянин, я слез не проливал...

Но как это подходит и для характеристики профессора химии Энгельгардта!

Представляется, что этот опыт сравнения двух судеб позволил лучше почувствовать и понять тоску и радость одного и другого. И заставил снова задуматься о роке, о страдании вообще. Овидий хорош в своих любовных и мифологических поэмах, спору нет. Но без «Скорбных элегий» и «Писем с Понта» он не дотягивает до земляка Вергилия. А так — встает вровень.

А об Энгельгардте вот что говорил в письме жене Вернадский: «Меня всегда поражало то, что человек, удалившийся так глубоко в глухую провинцию, сумел и смог влиять на жизнь и склад интеллигенции, на брожение умов, писавши очень, крайне мало. И мне казалось, что такой человек не пропал для родной страны, сделал свое дело для развития русского народа, а следовательно, и всего человечества. Мне казалось, что насильственная ссылка его в глухой провинции представляла здесь редкий случай отсутствия вреда. Вред, нанесенный ссылкой и заточением ученых людей, очевиден, вред такой вырванности из среды русского общества Радищева, Чаадаева, Арсеньева, Щапова, Чернышевского и т. п. более или менее ясен, здесь же вред, нанесенный ссылкой на целые 11 лет (1871—1882) Энгельгардта, сделавшись мне ясен только теперь. Я увидел перед собой редкий тип мощного ученого, профессора...»³¹

И закончить этот очерк лучше всего пушкинским отрывком:

Утешься; не увял Овидиев венец!
Увы, среди толпы затерянный певец,
Безвестен буду я для новых поколений,
И, жертва темная, умрет мой слабый гений
С печальной жизнью, с минутною молвой...
Но если, обо мне потомок поздний мой
Узнав, придет искать в стране сей отдаленной
Близ праха славного мой след уединенный —
Брегов забвения оставя хладну сень,
К нему слетит моя признательная тень,
И будет мило мне его воспоминанье.

И все же самой последней строкой пусть будет Овидиева:

Всех нас родная земля непонятною сладостью манит.

³¹ М. Н. Левитин. А. Н. Энгельгардт и В. И. Вернадский. В кн.: Неизвестное об известных. Смоленск: Маджента, 2003, с. 131, 132.